

## Игорь Межуев

### ВРЕМЯ ВОЗВАЩАТЬСЯ ДОМОЙ

*Рассказ*

*Моим друзьям*

В субботу, вместо того чтобы провести несколько лишних часов в постели, мы должны вскакивать в семь, быстро наводить порядок и, наспех позавтракав, сматываться с квартиры на все выходные.

В субботу квартиру навещает хозяйка, миссис Робинсон. Она не знает, что кроме Флоры, которая платит ей только за себя, на квартире еще проживаем мы: Рон — Флорин бойфренд и я — френд Флориного бойфренда.

Миссис Робинсон хочет продать квартиру, поэтому на выходные она приглашает публику на просмотр. Иногда она поселяет в спальню, в которой без ее ведома проживаю я, кого-нибудь из своих друзей, приехавших в город поиграть в гольф.

Слава богу, миссис Робинсон не навещает нас без предупреждения. Я сплю в одной из ее постелей, а она даже не подозревает о моем существовании. Может быть, я не существую?

Когда ночевать негде, я сплю в палатке невдалеке от города, но зимой это чертовски холодно.

Мы выходим из дома: Рон, Флора и я. Рону сорок, он — часто встречающийся тип англичанина, несколько арабского вида, с лысиной, идущей от лба, но при этом чисто английский нос и большие грустные глаза. Все поначалу подозревают в нем голубого, но это не так, просто Рон, несмотря на свой мужественный вид, слегка женственен в общении: мягкие движения рук, слушая, смотрит собеседнику прямо в глаза, слегка наклонив голову. На улице, а иногда и дома, он носит старую, пятидесятых годов, шляпу а ля агент ФБР. Гордость Рона и, пожалуй, его единственная ценная собственность — это двадцатипятилетняя «Вольво» — прямо танк, возвышающийся на трассе над новенькими «Фордами», «Тойотами» и «Ягуарами».

Рыжая Флора, чуть прищурившись и направив лицо на солнце, по-кошачьи вышагивает между нами.

Я люблю их обоих, мне нравится их независимость и простота.

За углом нас поджидают неопрятно одетая женщина. Ей лет шестьдесят, постоянная полуулыбка блуждает на ее скучающем лице. Каждый день я вижу эту женщину на улицах города, она распространяет религиозные брошюры. Публика обычно пытается ее избежать. Некоторые, завидев ее издалека, даже переходят на другую сторону улицы или сворачивают в переулки. Но никому не удается скрыться от зоркого глаза слуги Господа нашего.

Эта женщина хранит в своей памяти картотеку всех жителей города, и если встречает кого-либо старательно уклоняющегося от получения Запания, то пре-

Игорь Рафаэльевич Межуев (род. в 1962 г.) — по образованию физик; публикуется впервые. Живет в Гатчине под С.-Петербургом.

следует его с неизменной улыбкой на лице и брошюркой в руке до тех пор, пока тот, натянуто улыбнувшись в ответ, не засунет брошюрку в карман.

На этот раз нам не обойти ее.

— Скоро Господь наш Иисус Христос придет за каждым из нас. Повернитесь к Господу нашему сейчас, а то потом может быть слишком поздно, — без предупреждения выпаливает женщина и протягивает нам одну из брошюрок.

— Не надо! — вдруг кричит всегда до предела тактичный Рон и в испуге, словно от прокаженной, отскакивает от женщины в сторону.

Я не выношу таких ситуаций: с одной стороны Рон, почему-то с брезгливым ужасом смотрящий, как я протягиваю руку за брошюркой, с другой стороны эта странно улыбающаяся и одновременно продолжающая произносить свои кликушеские заклинания женщина. Флора просто стоит в стороне, отвернувшись, греет на солнце лицо. Ей очень изящно — зачаровывающим поворотом бедра и несколькими пружинистыми шагами длиннющих ног — удалось обойти непреодолимую для меня преграду.

Я беру брошюрку. Я говорю спасибо.

— Бог помилует тебя, — говорит женщина вслед.

Мы идем дальше. Я сую брошюрку в карман.

— Не выношу кликуш, — говорит Рон.

— Знаешь, — как бы извиняясь за нее и за себя, говорю я, — она полька, во время войны она попала в концлагерь в Германии, а потом приехала в Англию. Интересно, что люди, пережившие трагедии и жестокость, порой неожесточаются на все человечество, а даже наоборот.

— Да, — говорит Рон. — Я чувствую ее польский акцент. Но я не терплю, когда кто-то пытается навязать мне свое мнение. Если она после концлагеря полюбила человечество, тогда почему она не уважает мою свободу взглядов? Я не терплю за это церковь. Пусть они оставят нас в покое и заботятся о своей собственной душе.

Мы подходим к машине Рона.

Я люблю ехать в машине по открытой местности, когда сидишь на переднем сиденье и небо раскрывается перед тобой. Голубое небо — это всегда символ свободы. В любой культуре обязательно найдется песня, и не одна, в которой герой мечтает о крыльях, чтобы улететь от опостылевшего СЮДА куда-нибудь к чертовой матери ТУДА, где другой, так же вопиющий о свободе герой мечтает улететь ОТТУДА СЮДА. К примеру, шестьдесят шесть процентов молодых британцев хотят свалить из Британии, неважно куда, главное свалить, хоть в Россию. Сибирь их почему-то особенно привлекает.

Одна английская студентка как-то попросила меня проверить ее сочинение. Сочинение называлось «Страна старииков». В сочинении говорилось, что с самого детства эта девушка, имевшая возможность много путешествовать по миру со своим отцом-дипломатом, относилась к Англии как к стране очень скучных, пахнущих лавандой старииков. Россия же для нее всегда была страной интересных людей и встреч. С другой стороны, молодые люди в России относятся к Англии как к стране нескончаемого рок-н-ролла, а Россию воспринимают как тосклившую страну бардака и бюрократии.

Когда едешь в машине, то в некотором роде достигаешь того ощущения полета ОТСЮДА ТУДА — ветер свистит, пейзажи сменяются, хотя остаешься все время на месте, в машине. Кроме того, музыка звучит, и не дует.

Что это, обман зрения? Феномен? Дай каждому борцу за свободу по новой машине, и он успокоится, почувствует, что он свободен. Хотя бы немножко, хотя бы в хорошую погоду.

— На пляж? — спрашивает Рон.

— Конечно, на пляж! — отвечаю мы с Флорой.

Флора садится на переднее сиденье рядом с Роном. Я залезаю на заднее. Небо для меня закрыто пышным кустом Флориных огненно-рыжих волос. Наверное, именно в таком горячем кусте библейский старец когда-то увидел Бога.

Ну что ж, я достаю из кармана желтый двойной листок религиозной брошючки.

## DAILY NEWS

### МИЛЛИОНЫ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ

По оценкам «The Reader's Digest Association», на сегодняшний день в Соединенных Штатах каждый год заявляется о пропаже примерно десяти миллионов человек. Около девяноста пяти процентов пропавших возвращаются через несколько часов или дней домой, но остается пять процентов исчезнувших навсегда.

Удивляют причины исчезновения людей. Могут ли они быть следствием преступных связей, или же это зов приключений, или попытка обрыва старых уз, или желание уйти от отягочающей ответственности? Факт исчезновения без всяких следов труднообъясним, но это происходило и происходит множество раз!

### ЕЩЕ БОЛЕЕ СТРАННЫЕ ВЕЩИ!

Еще более странными являются случаи исчезновения людей, ни о чем не подозревающих и не планирующих свое исчезновение.

В июне 1872 года на реке Миссисипи пароход «Железная гора», около 200 футов длиной, вышел из Виксбурга, буксируя баржи с хлопком и мелассой. Позднее баржи были обнаружены плывущими вниз по течению, буксировочный трос был перерезан. Никто никогда больше не видел «Железной горы» и ее пятидесяти двух пассажиров. Никаких следов крушения и закрепленного на палубе груза не было найдено.

Местом наиболее массовых исчезновений является Бермудский треугольник, где пропало без вести множество самолетов и кораблей, так и не оставив никаких объяснений этой зловещей и сбивающей с толку мистерии.

### Приехали.

Пляж — это прежде всего граница, непреодолимая граница, достигнув ее, мы не можем войти в море в прямом смысле, мы не можем уйти под воду, дышать водой, жить там. Для нас это смерть, точно так же, как для рыб невозможно выйти из воды. И, может быть, в нашем стремлении к воде есть немного от фрейдовского стремления к смерти.

Пляж — это кладбище. Вот они, тысячи умирающих медуз, выброшенных на песок прибоем. Похоже на массовое самоубийство.

Один мой знакомый моряк сказал, что его тошнит от запаха пляжа, потому что это запах разложения, запах смерти. И теперь мне кажется — он прав, ведь море не пахнет, в открытом море нет запаха. Запах, который мы всей грудью вдыхаем на берегу и называем запахом моря, является в сущности запахом разлагающихся на песке водорослей и морских животных.

Не пришедшие к согласию с жизнью киты выбрасываются на берег, люди иногда, потеряв надежду, бросаются в море. Тела и тех и других море хоронит здесь, на тонкой полоске, являющейся морем во время прилива и сушей в часы отлива, но в сущности ни тем ни другим, а просто пляжем.

На ребристой стиральной доске песка сотни песочных червей оставили свои песочные монументы. В течение ночи они, словно батальоны живых песочных часов, извиваясь, перекачивают через себя кубометры песка. Кладбищенские атрибуты, песчинка за песчинкой считающие мое время, возводящие памятники самим себе.

— Что в Британии произвело на вас наибольшее впечатление?

— Песочные черви на пляже!

Очень солнечный день. По числу солнечных дней этот город стоит на первом месте в Британии.

Солнце послужило причиной массового гуляния. Люди и собаки хаотично движутся по песку — броуновское движение.

Мы встречаем на пляже Стюарта. Стюарт так же, как Рон и Флора, учитель, он преподает английский студентам-иностранным. Стюарт — учитель, но выглядит он как постаревший студент: нечесаные волосы, бумажка прилипла к старому черному пальто. Или это пластырь?

Я и Стюарт снимаем ботинки, заходим по колено в воду. Рон и Флора с берега смотрят на нас. Из воды на нас смотрит рыба. Эта рыба — мираж, не более. Разве может быть рыба? Разве может быть что-то столь отличное от меня? Без рук, в чем-то даже без головы, но с глазами. Рыба живет в воде. Разве можно жить в воде? Ведь вода это смерть. Может быть, рыба только дух, галлюцинация с картины Босха, посланец с того света? Кто ты, рыба?

Стюарт берет рыбу в руки, он погружает большие пальцы в тело рыбы — он просовывает их в ярко-розовые отверстия жабер. Рыба молчит, не протестует, только играет на солнце зеленоватым серебром чешуи. Стюарту кажется, что рыба материальна, он даже уверен в этом. Но я не могу быть уверен, слишком много объектов, казавшихся мне в прошлом реальными, вдруг превратились в ничто, в воспоминание.

А было ли то, что я помню на самом деле? Существует ли то, что теперь окружает меня? Маленький необитаемый остров Британия. Девять месяцев. Если я ничего не родил, не пора ли возвращаться домой?

— Отпусти животное, — говорю я Стюарту.

Стюарт бросает рыбу в воду. Рыба, благодарно махнув хвостиком и совершив три прощальных круга, уплывает в морскую глубь.

В сущности, оказаться в России достаточно просто, надо только пойти в полицию и донести на себя, сказать, что виза давно кончилась, что нет денег, и через два дня будешь пить пиво с друзьями в баре на улице Жуковского, обычное «жигулевское» пиво, чуть разбавленное водой. Пить и закусывать сушеным рыбой. Наверное, бармены специально добавляют воду в пиво, чтобы вобла не казалась слишком сухой. Круговорот воды в природе.

— Кто вы? Чем вы занимаетесь?

Я все время теряюсь, когда кто-либо спрашивает меня о том, кто я. В России я был ученым, я изучал влияние солнца на бытие нашей планеты, а следовательно, и на ее сознание. К примеру, произошел на солнце небольшой термоядерный взрыв, а у нас через несколько часов возникает магнитная буря, среда и люди начинают волноваться, броуновское движение усиливается, и, как следствие: инфаркты, разводы и революции. А вы думали, революция — это потому, что предпосылки созрели? Нет, господа, научная логика сильнее диалектической.

— Я поэт, — отвечаю я.

— Вы издаете свои стихи?

Они всегда задают этот странный вопрос.

— Нет, — отвечаю я. — Но поэт, который не издается, в некотором роде более поэт, чем тот, кто на каждом углу печатает свои стихи.

— Что вы имеете в виду?

— Можно вообще не писать стихов и быть поэтом.

Странно, но этот тезис обычно воспринимается публикой с пониманием.

Иногда, вместо того чтобы спросить, издаю ли я свои стихи, они спрашивают:

— А о чём вы пишете?

Не менее сложный вопрос. Если по-честному, то я пишу о себе, и не потому, что я очень люблю себя, а потому, что я живу только в своей собственной шкуре. Я тридцать лет живу в своей собственной шкуре, и тем не менее не знаю всего о себе; как тогда я могу писать о ком-то другом, о его мыслях и чувствах? Я жив

восемь лет с женщиной, полагая, что я знаю о ней все, и вдруг я понял, что я не знаю ровным счетом ничего — стена, непрошибаемая стена. Все, что я видел в ней, — это было лишь мое отражение в этой стене. Я вкладывал в мозг моей женщины мои собственные мысли и чувства, полагая, что эти мысли и чувства принадлежат ей. Глупец!

Недавно я начал писать анекдоты, по слухам принадлежащие Пушкину, точнее, я написал только один анекдот, вот он: «Как-то Жан-Поль Сартр и Гегель решили податься, но так и не подались — оба оказались слишком хитрыми».

Я не знаю, насколько смешным получился анекдот, я написал его по-русски, и показать мне его некому, но мне самому от этого анекдота, ну, совершенно не смешно.

Я не хочу сдаваться, не хочу идти ни в полицию, ни в посольство, ведь все, что у меня теперь есть, то, чего я так долго добивался, — это моя свобода, независимость от властей и от бумаг. Я не хочу больше видеть их холеных, довольных, уверенных в своей власти лица. Они спрашивают меня, что я собираюсь делать, о чем я думаю. Они хотят знать, кто мои друзья. Они звонят моим друзьям среди ночи, чтобы узнать, где я, чтобы узнать мои мысли, предугадать мои действия. Какое им дело? Найдите другую работу! Я не опасен. За свою жизнь я только раз ударил человека по лицу, и то из-за того, что он издевался надо мной. Это было пятнадцать лет назад, но я до сих пор помню. Но какое им дело. Я не прошу у них подданства. Я просто не хочу больше их видеть. Я свободен. Я здесь лишь потому, что в данный момент времени я хочу быть здесь.

Моя свобода — это не пресловутая гегелевская осознанная необходимость. Bloody hell! Много лет я пытался осознать необходимость — и не выпло, никак не осознается. Я пытался осознать, почему перед тем, как сделать любой следующий шаг, я должен был унизиться перед безликими людьми, сидящими за нескончаемыми амбразурами государственных учреждений. Я честно пытался осознать, почему моя жизнь должна зависеть от закорючек их подписей, грязных неразборчивых клякс печатей. Не получилось. Не осознается. Может быть, я просто тупой? Но ведь и тупой имеет на что-то право. К черту осознанную несвободу. Уж лучше неосознанная свобода!

Я рад, что они отказали мне в продлении визы, я рад, что у меня кончились деньги. Я выбросил все документы. Я теперь свободен от бумаг и от властей. Я гражданин мира. Теперь они ничего не смогут сделать со мной: ни те, ни эти.

Почти каждое утро я прихожу сюда на берег, я ищу пустые пластиковые канистры. Это самый распространенный береговой мусор. Море не терпит искусственной материи, оно истогает ее из себя. Канистры, бочонки, пластиковые бутылки из-под дизельного топлива, машинного масла, соков, питьевой воды, выброшенные с мелких рыболовецких судов и прогулочных яхт, море хоронит здесь.

Недавно я нашел огромный мешок из очень хорошей парусины — это по крайней мере шесть квадратных метров паруса. Берег богат полезными вещами: куски веревок, проводов, пластика...

По карте полоса восточного пляжа тянется примерно миль на шесть, но берег здесь настолько изрезан и извилист, что, если идти пешком по кромке воды, это занимает часа четыре, то есть не меньше десяти миль. Затем берег рассекает река. Мост через реку отсутствует, и я собираю свой «мусор» на этом участке от города до реки.

В воскресенье вечером возвращаюсь на квартиру. Рон и Флора в ванной комнате. Каждый вечер они проводят там часа по два. Без сомнения, они занимаются там любовью. Я думаю о том, где и как они делают это. Может быть, лежа под водой в нашей просторной ванне, периодически всплывая, чтобы вдохнуть воздуха; может быть, на мягким зеленом коврике.

Я думаю об этом лениво. Уже, наверное, год я не чувствую «непреодолимого

желания». Нет, все нормально, иногда у меня бывает утренняя эрекция, иногда мой взгляд задерживается на изящно двигающейся попке проплывающей мимо леди — я поэт, я ценю красоту, но нет уже во мне непреодолимого молодежного желания по отношению ко всему, что шевелится. Старею. Странно, когда я был женат, я испытывал больше интереса к посторонним женщинам.

Смотрю вечерние новости по каналу Би-Би-Си. Да, неспокойно на моей родине. Люди собираются в кучи, кричат на разные голоса, бьют друг друга по лицу — это сказывается рост солнечной активности.

— Твои коллеги сейчас снова на баррикадах согревают себя водкой, а ты здесь лежишь на коврике перед камином, словно собака, и, прислушиваясь к звукам из ванной, греешь свои старые кости, — говорю я вслух самому себе.

Часов в одиннадцать дверь ванной комнаты открывается, и сперва из нее выходит раскрасневшаяся Флора с чалмой полотенца на голове, а затем, через несколько минут, появляется уставший, но довольный Рон. Они желают мне спокойной ночи и удаляются в свою спальню.

Каждый понедельник и пятницу, в полдень, в «Виктория-кафе» я даю уроки русского одной немецкой девушке. Мы арендаем на пару часов небольшой зальчик, свободный от посетителей в это время дня. Хорошо, что есть на земле немецкая девушка Андрея, которая хочет изучать русский язык. Я отношусь к этим урокам очень серьезно, я старательно подготавливаю каждый из них.

Летом Андрея собирается в Россию, и я обучаю ее языку, для того чтобы она могла выжить, оказавшись там в одиночку. Учебники русского, которые я видел, дают много ненужных слов, а о нужных словах забывают. Их авторы изучают язык лет по двадцать, сидя в пыльных кабинетах и классах. Они не ставят перед своими учениками задачу выживания в одиночку в иноязычной стране. Они учат фразам вроде «Смотри, Борис, чайка летит», они не знают о фразах типа «Я голодаю, у меня нет денег, дайте мне любую работу». Конечно, я не учю Андрею таким фразам, Андрея — хорошая девочка из вполне состоятельной семьи, но я даю ей полезные слова и выражения, я даю ей грамматику. Для тренировки произношения она читает мои старые стихи, она не понимает их, ее словарный запас еще не настолько велик, но она читает их для меня вслух, я слушаю ее, пью кофе, поправляю интонацию и ударение.

Я благодарен Андрею: два раза в неделю она приходит в «Виктория-кафе» и читает мои стихи, единственный человек, который их читает. Я перевожу их для нее, объясняю, ей это нравится, я благодарен ей.

Она единственный человек, кому я теперь благодарен.

Предварительно закупоривая и проверяя на герметичность, я связываю пустые канистры вместе за ручки. Канистры на пляже обычно не имеют крышек, я вырезаю пробки из валяющихся тут же подходящих кусков дерева.

По-моему, плот, состоящий из пустых пластиковых канистр, гораздо надежнее деревянного или резинового надувного. Опыт показывает, что канистры, выброшенные на берег штормом, никогда не бывают разбиты. Кроме того, если я наполню некоторые из канистр пресной водой или пивом, они все равно будут оставаться на плаву, и по мере расхода пива плот будет становиться все более и более устойчивым.

Одну из канистр, с широким горлом и специальными отверстиями в стенках, я собираюсь наполнить живыми устрицами. Постоянно находясь в проточной воде, устрицы будут мне поставлять необходимый для жизнедеятельности протеин.

Я собираю свой плот в кустах. Даже если кто-нибудь увидит его со стороны пляжа, он подумает, что это всего-навсего свалка берегового мусора.

Получил письмо от друзей из Санкт-Петербурга, ответ на открытку, которую я послал четыре месяца назад.

Привет!

Огромное спасибо за открытку. Надо признаться — это как вести с того света. Не балуешь ты нас своим вниманием.

Вообще, все здесь в порядке у всех. Все живы и здоровы, а это главное.

Разве тебе не весело там? Но я могу тебя утешить только тем, что здесь тебе было бы не намного лучше. Я думаю, все это внутри, территория большой роли не играет. Хотя, раз ты еще там, значит, не все так плохо. Вообще ты молодец! «Крепись, заграница нам поможет!»

Надеемся получить от тебя письмо и в ответ послать более подробное. А пока это просто как привет тебе от всех нас.

У твоей дочки Алёнки все в порядке, видели ее недавно, такая симпатичная, я думаю, она похожа на тебя.

Ты, главное, пиши. Вообще никаких больших потрясений, слава богу, нет. Все мы вспоминаем тебя. Так что, по возможности, возвращайся. Мы все тут. Такова жизнь. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Главное, не пропусти свое.

Крепко тебя целуем и обнимаем.

Обязательно пиши, не ленись!

Конечно, мне весело здесь, на том свете. Вот, к примеру, иногда мне доставляет огромное удовольствие мыть посуду. У нас нет посудомоечной машины, и скопившуюся за день посуду я по вечерам перемываю и переполаскиваю теплой голубой водой. Что мне особенно нравится в этом процессе — это вода. Теплая, все на свете смывающая, как время, делающая тарелки и душу чистой, а значит — пустой.

Мытье посуды нравится мне своим идиотизмом, далеким от физики и высшей математики, хотя и высшая математика теперь тоже кажется мне идиотизмом, бессмысленной игрой в цифры и термины, она когда-то давала мне ощущение своей, а следовательно, и моей серьезности, но она никогда не давала мне ощущения понимания жизни.

Я стою у раковины, заполненной голубой пенистой теплой водой, погружаю в нее руки, тру губкой блестящую плоскость тарелки, качаю головой и чувствую, что иногда в голове что-то перекатывается, но это не мысль, это пустота. И я раздуюсь этому — пустота лучше, чем память.

Сломанные канистры и пластиковые бочонки я разрезаю садовыми ножницами и затем, пробивая гвоздем дырки, шиваю их толстой капроновой ниткой в единый большой кусок. Этот кусок будет настилом-палубой, под и вокруг которой будут крепиться канистры-поплавки. Поначалу я пытался рисовать проект всей конструкции, но затем оставил эту идею, так как каждый раз приходится вносить изменения в зависимости от новых находок на берегу. Мое судно — это живое творчество масс.

Море очень щедро ко мне, вот вчера оно выбросило прямо около моей «верфи» очень хороший двадцатипятилитровый бочонок из-под машинного масла «ТЕХАСО».

Я уже представляю, что должно получиться, но еще не знаю, что делать с папусом, то есть я не знаю, как крепить мачту к моей болтающейся конструкции.

В городе есть небольшое русское общество — человек десять. Но я не хочу общаться с ними только ради общения на моем родном языке. Для меня они просто случайные люди. Кроме того, наравне с удивительной русской добротой и состраданием, они иногда излучают русскую зависть — злое русское чувство, то ли национальное, то ли воспитанное в низших и средних слоях русского общества, воспитанное постоянной исторической нехваткой колбасы и свободы передвижения за границу. Зависть, что еще могло быть движущей силой этих непрекращающихся русских революций. Они завидуют чему угодно, даже реально не представляя, что это значит и каким трудом это достается. Даже когда они полу-

чают то, чему они так долго завидовали, они продолжают завидовать, все еще не веря тому, что они это имеют. Они не верят, что тот, кому они завидовали, не имеет лучшего. Они думают, что их всегда обманывают. В Москве они пьют русское «жигулевское» пиво и завидуют, что кто-то в Германии пьет баварское. Они всей семьей приезжают работать в Британию и завидуют мне, что я здесь. Для них неважно, что я не имею ни визы, ни денег, ни разрешения на работу, они думают, что их опять обманывают, что, наверное, мой отец великая шишка и устроил мне всю эту райскую жизнь.

Даже продолжая здесь жить много лет, являясь гражданами этого западного мира, они не перестают завидовать.

Я звоню издателю в Лондон, я предлагаю ему свои стихи. Он русский, он живет там уже одиннадцать лет, он ничего не знает обо мне, он еще не читал моих стихов, но сразу же спрашивает: «У тебя, должно быть, там есть богатый дядя?» Это, конечно, спрашивается в виде шутки, с иронической интонацией, но они всегда преподносят свою зависть в виде шутки, и от этого становится еще противнее. Он не знает, что его вопрос, вопрос лондонского издателя, звучит в унисон с вопросом провинциальной мещаночки — учительницы физкультуры, приехавшей сюда вместе со своим мужем-физиком из Новосибирска, те же слова, та же интонация: «У тебя, должно быть, отец — важная шишка?» Почему они меня спрашивают об этом? Я ношу старую одежду, мое тело не выказывает признаков постоянного переедания. Может быть, потому, что в моих глазах и голосе нет этого униженно-застенчивого выражения?

Я вешаю на стене в магазине-переходе объявление о частных уроках русского языка. Через пару дней, проходя мимо, я не нахожу своего объявления, на его месте чужое — с тем же предложением частных уроков русского языка. На объявлении цветными фломастерами нарисована то ли церковь с крестом над маковкой купола, то ли кремлевская башня со звездой. «Они не ведают, что творят», — думаю я.

Затем я случайно знакомлюсь с автором этого второго объявления. Миловидная девушка.

— Это твое объявление об уроках висело в переходе? — спрашивает она и сразу же: — А сколько ты берешь?

— Пять.

— Ты сбываешь наш рынок, мы берем не меньше десяти.

— Это ты сорвала мое объявление? — напрямик задаю вопрос я.

— Нет, — говорит она. — Я его даже не видела, мне о нем кто-то из наших сказал.

«Может быть, и не ты, — думаю я, — но кто-то из „наших“, это точно».

У меня почему-то не хватает чего-то сорвать ее объявление, и я не могу просить со студентов более пяти фунтов, зная, что они сами за три фунта в час по вечерам работают в барах.

— Вот тебе мой телефон и адрес, — говорит она. — Заходи, когда будешь свободен, на чай.

Нет, я не злюсь на них. Я все понимаю. Я человек интеллигентный, я все способен понять, даже осознанную необходимость. В сущности, я и сам такой же, как они. И я тоже хотел пить баварское пиво, не потому, что я его предпочитаю «жигулевскому», дело даже не во вкусе. Я просто хотел иметь возможность в правой руке держать бутылку темного стекла с красивой этикеткой, а большим пальцем левой руки отковыривать крышечку, и пена, плотная, слегка желтоватая пена течет по руке, и затем первый прохладный глоток! Это тебе и море, и секс, все смешалось в одном глотке! Счастье! Счастья хотелось, простого человеческого счастья, как и им всем. Да благослови нас Господь. Успокой наши души. Дай нам ту малость, прохладный глоточек пивка, о котором мы вопием к Тебе иссохшими ртами с рождения и до смертного одра.

На всем протяжении берег постоянно меняет свою фактуру.

В спокойную погоду песок на пляже словно застывшее море — лежит волнами, и каждая волна стороной, противоположной морю, сверкает серебряным блеском ракушечного перламутра.

Дальше к востоку, после нескольких волнорезов, берег становится каменистым, переходит в скалы ступенями, уходящими в море. По гигантским ступеням сбегает оставленная отливом вода, задерживается в миниатюрных, обрамленных изумрудным мхом и водорослями озерцах.

Звонок в дверь. Иду открывать. Два человека в форме. Наглые полицейские рожи. Ага, пришли меня забирать. Таким ничего не объяснишь, скрутят и бросят в машину, но я не дамся, я отдал все за свою свободу, и теперь вы меня не возьмете. И если я захочу обратно в Россию, я поеду туда свободный, не в ваших кандалах.

— Здравствуйте, — говорит один из них, тот, что с наиболее непроницаемой харей. — Очень хороший день, не так ли? Мы из Армии спасения. Собираем деньги для бездомных.

— Очень хороший день, — отвечаю я и выгребаю из карманов всю имеющуюся мелочь. Когда денег нет, то отдавать не жалко. — Вот, держите в свою копилку, для моих бездомных британских братьев.

— Вы иностранец? — спрашивает второй.

— Да, я из России.

— Студент?

Наверное, пройдет еще десять лет, а меня все будут принимать за студента. Может быть, я и в самом деле всего-навсего вечный студент, ведь мне до сих пор снится, что я проваливаю свои выпускные государственные экзамены.

— Да, студент, — отвечаю я.

— И что вы здесь изучаете? — спрашивает первый.

— Проблему выдавливания из себя раба в русской литературе, философии и гастрономии, — отвечаю я.

Первый не понял, второй смеется, хотя тоже, наверное, не понял.

— А я в университете один год русскую литературу изучал, — говорит первый.

— Значит, мы в некотором роде коллеги, — говорю я.

Долго раскланиваемся, и они уходят.

Нет, полиция не могла узнать, где я теперь живу.

— Испугался, маленький? — спрашиваю я самого себя.

— Всё пет. Просто собрался, приготовился для борьбы за собственную свободу, — отвечаю я самому себе.

— Что-то ты слишком часто говоришь сам с собой вслух, уж не началась ли у тебя первая стадия шизофрении? — говорю я самому себе.

— Это нормально, — отвечаю я самому себе. — Главное, что в русле литературной традиции, а вот когда вне литературной, тогда сложней, тогда, может быть, и в самом деле первая стадия шизофрении.

Конечно, иногда и я чувствую зависть, зависть к тем, кто может свободно передвигаться.

— На выходные я еду в Барселону, — говорит Стюарт.

А я чувствую зависть. Не потому, что я тоже хочу в Барселону, а потому, что для него это просто, а для меня нет. Я должен был бы снова просить визу, ждать неделями ответа, и совершенно однозначно, что теперь я получил бы отказ, в форме «Мы считаем вашу поездку нецелесообразной». Для кого нецелесообразной? Эти люди никогда не видели меня, кроме двух-трех анкетных строчек они ничего не знают обо мне. Для них важно только то, что я родился в России.

Чувствую ли я ностальгию? Я не знаю, ностальгия ли это, по что-то я все-таки чувствую. Моя память обострилась. Я стал ни с того ни с сего вспоминать мельчайшие детали семейных праздников, дословно разговоры с друзьями, а тем разговорам уже более десяти лет. Помню, стою с собакой на поводке у гастронома, на углу Невского и Литейного, и смотрю сквозь проталинку в замершем стекле витрины, как моя жена внутри гастронома выбивает чек на творог. Это был ноябрь, пять лет назад, и на ней было клетчатое пальто с капюшоном, первая на-

ша покупка после свадьбы, я даже вижу, что верхняя пуговка на пальто лишь на одной нитке болтается, оторваться хочет. Малиновые большие пуговицы.

Иногда моя ностальгия проявляется в ощущении вины перед моей собакой, с которой я редко гулял.

Я должен дождаться лета. Я не смогу пересечь Северное море сейчас, вода слишком холодная, я просто замерзну. И надо что-то придумать с одеждой. Специальный гидрокостюм, в котором они здесь, даже зимой, занимаются серфингом и водными лыжами, мне не по карману. Но ведь должен быть какой-либо заменитель. К примеру, можно, как в каком-то из фильмов, смазать свое тело жиром и обмотаться скотчем.

Когда я бреюсь и смотрю на себя в зеркало, а бреюсь я, надо признаться, недостаточно часто, так что Стюарт постоянно спрашивает меня, как это мне удается все время поддерживать одинакового размера щетину. Это не искусство, он просто каждый раз встречает меня на третий день после моего бритья. Так вот, когда я бреюсь и смотрю на себя в зеркало, я думаю, что, может быть, хватит взвалить дурака, тебе уже перевалило за тридцать, ты получил хорошее образование, знаешь три языка, был уважаемым в некоторых кругах человеком, а теперь, словно беспризорник, подросток двенадцати лет, сбежавший из дома, не имеешь ни стабильной работы, ни денег, ни визы. Не пора ли снова стать взрослым серьезным мужчиной. Очнись! Все твои разговоры о свободе — это философия неудачника. Ты называешь нищету — свободой от материальных ценностей, а отсутствие официального статуса и работы ты называешь свободой от государственной машины. Твоя жена ушла от тебя лишь потому, что ты инфантил. Потому, что ты сам ставишь себя в дерзкие ситуации. И кроме того, ты претендешь на то, что ты свободный поэт, новый романтик. Но за год ты не написал ни одного стихотворения! Какой ты, к черту, поэт?

— Можно быть гениальным поэтом и не писать стихов, — отвечаю я самому себе вслух.

Звучит интригующе, но не очень убедительно.

Еще одно письмо. От друга из Москвы, мы с ним когда-то вместе работали, ездили в экспедиции.

Здравствуй, дорогой!

Извини, что только сейчас пишу. Хотел письмо на английском написать, но потом решил дать твоим глазам отдохнуть на русском.

У нас особых новостей нет. Пашу как проклятый, учу английский и испанский. Оля по-прежнему в муз. училище работает, а Аньютка в школу собирается. Кстати, на ночь рассказываю ей сказки про твои путешествия.

Изредка звоню в наш институт, но там полный развал. Многие уехали. Дима через какой-то там «Техноэкспорт» по контракту поехал за длинным долларом в Марокко (вроде бы инженером, в научно-исследовательский вычислительный центр).

О жизни нашей в целом, наверное, знаешь. Говорил с твоими родителями по телефону. Чувствуют себя хорошо. Конечно, им хочется, чтобы ты подольше оттянул встречу с нашей суровой действительностью, пожил, как белый человек. А то приедешь и так вляпашься... Правда, еще невыездной Пушкин в своих дневниках, оказывается, писал, что «если долго сидеть в сортире, то запаха не чувствуешь».

Хотя, конечно, скучаем по тебе очень-очень. Часто вспоминаю наши экспедиции. Может, тогда жизнь и была по-настоящему? Даже не представляю, как ты там? Въехал ли до конца в их культуру? Жутко интересно.

Мои тебе привет передают огромный-преогромный. Мечтаю о встрече, но чур — на твоей нынешней территории.

Целуем, и большое спасибо за звонок — я потом неделю под кайфом ходил.

Почему я бросил заниматься наукой?

Просто однажды я оглянулся — посмотрел на ту часть моей жизни, которую я прожил, и попытался понять, что я создал за это время, в чем был смысл моего существования. И кроме моей капельки-дочки, которую моя жена отняла у меня, отдав другому мужчине, и нескольких стихотворений, я не увидел ничего. Ни одна моя научная работа не содержала моей души.

Мои работы, может быть, и объясняли что-то, какие-то процессы в верхней и средней ионосфере, потепления и похолодания, почему в феврале, к примеру, в Эдинбурге теплее, чем в апреле в Москве, но они не объясняли мне, почему именно я должен делать так, а не иначе, почему именно я писал эти работы. Кроме того, оказавшись в феврале в Эдинбурге, находящемся на широте заснеженной Москвы, и увидев в это время года цветы и траву на газонах, я, способный во всех подробностях их объяснить, все равно испытал удивление.

По крайней мере, моего научного знания теперь хватает, чтобы рассчитать течения, ветер и среднюю скорость передвижения моей «плавучей помойки».

С тех пор как моя жена ушла от меня, я перестал писать стихи. Что-то сломалось во мне. Перегорел поэтический предохранитель. Но я все еще продолжаю таскать с собой толстую пачку своих старых стихов. Когда я читаю их, я не верю, что они написаны мной, так это все теперь далеко и бессмысленно.

В одно из прошлых воскресений мне было некуда пойти и, чтобы убить время, я просто слонялся по улицам города.

Эта прогулка мне чем-то напоминала прогулки по весенним набережным Петербурга, когда вдруг начинает пригревать апрельское солнце, небо становится голубым настолько, что чувствуешь близость моря, а запах сырости перестает быть просто запахом сырости, приобретая значение свежести.

Ноги сами несли меня к оживленному центру города. Машины припарковывались у тротуара, нарядные люди спешили в церковь. Проходя мимо одного из имевшихся в городе соборов, я, немного поколебавшись, решил зайти. Служба уже началась. Народу в центральном зале собралось так много, что попасть туда было уже невозможно, и я вместе с другими опоздавшими стоял в дверях.

Затем пришел служитель и жестом позвал нас последовать за собой. Мы обошли собор и оказались в небольшой комнатке рядом с алтарем.

В комнате стояло с дюжину стульев, сейф, шкаф, различная церковная утварь. Жарко пахло воском. Служба шла. Мальчик лет четырнадцати, в белоснежной накидке прислуживающий у алтаря, постоянно заходил в комнату, то приносил, то забирая атрибуты священодействия. Со своего места, сквозь открытую дверь, я мог видеть и слышать священника. Его голос притягивал уверенностью и красотой. Иногда я пытался понять, о чем тот говорит. Иногда я отключался, думая о чем-то своем, то ли на русском, то ли на английском. Иногда слова священника об идущем в Иерусалим Иисусе спева врывались в мои мысли.

На соседнем со мной стуле сидела красивая молодая женщина с годовалой девочкой на руках. Сперва ребенок был спокоен, но затем начал вертеться, играть своими крохотными босыми ножками, выгибать спинку, пытаясь дотянуться до материнских волос, затем повернулся ко мне и улыбнулся. Я улыбнулся в ответ и снова ушел в себя. И снова Иисус шел в Иерусалим. Затем включился орган, и прихожане запели. Священник что-то сказал. Все стали пожимать друг другу руки и снова запели. Мелодия была трогательно проста и прозрачна. Меня вдруг прорвало — я разрыдался, я ничего не мог поделать с собой. Слезы текли по щекам, я вытирал их ладонями, рукавами, а они все текли, и я никак не мог их остановить. А прихожане все пели.

В комнату снова вошел мальчик, снял через голову свою белоснежную накидку и оказался в потертых джинсах и футболке с надписью «ROCK-N-ROLL FOREVER».

Служба окончилась.

Однажды, еще два года назад, в Питере, когда мы только начали ссориться, а моя жена уже ждала ребенка, я решил пойти в церковь, креститься и попросить

Бога за нас, но в тот день церковь была закрыта, и я больше туда не собрался. Я даже подумал, что это был знак, что, если нам суждено разойтись, мы должны разойтись, что мы уже никогда не сможем наладить нашу совместную жизнь и для нас обоих будет лучше найти кого-нибудь более подходящего.

Прихожу с берега домой. Как ни странно, Рон и Флора не в ванной, а в компании с лысым от лба и очень волосатым от затылка стареющим хиппи. Пьют водку перед камином. По комнате, приятно благоухая гашишем, плавают облака сигаретного дыма.

— Знакомься, — говорит Рон. — Это Тим, он гитарист в «ANIMAL FARM».

— Знаешь, — говорит Тим, — я был в России на гастролях, и мы в Москве играли вместе с одним вашим певцом-поэтом, который впоследствии умер от перепоя, сердце, кажется, не выдержало. К сожалению, никак не могу вспомнить его имя.

Я затягиваюсь предложенным косяком. Некоторое время мы молчим, пытаясь вспомнить имя умершего от перепоя поэта. Напрасно.

— Я продаю Тиму свою машину, — после паузы говорит Рон.

— Отличная машина! — улыбаясь, восклицает Тим. — Я коллекционирую «Вольво», и эта будет самая старая в моей коллекции.

Мы смеемся.

— А как же ты без машины? — спрашиваю я Рона.

— Мы с Флорой решили податься в Южную Америку, в Аргентину. Флоре там работу предлагают.

— Был я в Аргентине на гастролях, — говорит Тим. — Хорошая страна.

Курим.

— А что ты? — вдруг спрашивает меня Рон.

— Я? Что я?

— Что ты будешь делать, когда мы уедем?

— Уйду на север к партизанам.

Тим смеется.

— Знаешь что, — серьезно говорит Рон. — Бери лучше ты мою машину и езжай на ней в Россию, а там ее в какой-нибудь музей отдай.

— Ты же ее Тиму продаешь?

— Ничего, Тим перебьется. Ему четырех «Вольво» хватит. А тебе она будет нужнее.

— Конечно, — говорит Тим. — Я еще полстакана выпью и совсем перебьюсь.

— Спасибо, ребята, — говорю я. — Вы настоящие друзья. Только вот я сейчас одну книжку перевожу, там написано: «Пенеобходимая собственность отягощает ношу». Мне и себя негде положить, а здесь еще и машина. Я уж лучше на белом пароходе.

— Я, пожалуй, тоже все свои машины продам, — говорит Тим.

— Когда едете? — спрашиваю я, разливая водку по стаканам.

— Недели через две, — отвечает медленно Флора и внимательно смотрит в мои глаза.

В окне человек, трет тряпкой стекло. Если в Петербурге все сапожники ассирийцы, то в этом городе все мойщики окон Свидетели Иеговы. Рекламируют конец света. Если они и в самом деле считают, что на днях должен случиться конец света, то зачем они моют окна? Нету, что ли, у них более важных дел? Помириться с теми, с кем поссорились, отдать долги, хотя зачем их отдавать, когда все равно все в тартарары.

Или мытье окон это символ, весть, призыв? Дескать, протри глаза перед смертью. Или они просто хотят, чтобы последние свои дни мы порадовались солнечной через чисто помытые окна?

Скажи мне, товарищ, почему ты моешь наши окна? Я хочу знать. Может быть, это в самом деле очень важно для меня, для каждого из нас. Ведь рано или поздно для каждого из нас наступит конец света. И как мы встретим его, если наши окна будут грязны?

Я кричу ему, я воплю, а он не слышит сквозь двойные стекла окон, лишь качает головой и настойчиво тряпкой скрипит.

Ладно, в любом случае: чистое окно чище грязного.

Пятница. Жду в «Виктория-кафе» Андрею. Чтобы не дразнить официантов, заказываю горячий шоколад. Андрея опаздывает. Ну что ж, почитаем брошюру, благо она в кармане.

### ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗ ВСЕХ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ

Позвольте мне сказать вам о наиболее удивительном исчезновении, которое планировалось давным-давно и скоро произойдет. По своему размаху оно будет величайшим! Оно станет мировым и вовлечет миллионы! Те, кто исчезнут, уже никогда больше снова не появятся на Земле. Они не успеют сказать своим близким последнего «прощай», они не будут знать даты своего исчезновения, но уже сейчас они точно знают, что оно произойдет очень скоро.

Вот и Андрея. Появляется в двери, ищет меня взглядом.

Симпатичная стройная немка, мне нравятся немецкие девушки. Она бы могла стать моей герлфренд, но, с тех пор как моя жена ушла от меня, я не хочу ни с кем вступать в серьезную связь. Андрея серьезная девушка, связь с ней может быть только серьезной, ведь она читает мои стихи и относится ко мне как к учителю. Определенно, я нравлюсь ей. Но что я могу ей дать, кроме своего знания никому здесь не нужного языка. Кроме того, может быть, у нее кто-то есть.

Я не ругался со своей женой, когда она решила от меня уйти, наши родители ругались, а я не ругался. Я просто очень попросил ее остаться. Я не ругался с ней потому, что я ее уважал, я даже еще больше зауважал ее после ее решения. Женщина с грудным ребенком отважилась на такое. Все говорили ей: дура, куда ты уходишь? А я думал: ты сильнее меня, ты сделала то, на что я бы никогда не решился, я бы так и продолжал терпеть ежедневные скандалы по пустякам, боль в своем сердце, и даже если бы я встретил кого-либо другого, я бы не решился тебе признаться и, наверное, стал бы тебе изменять в отместку за эту боль. Но ты решилась, ты отняла у меня мою дочку, ты дала мне свободу. Разве после этого я мог просто так, ни за что, с этой свободой расстаться, отдать эту свободу в случайные руки, или в грязные руки властей, в чьи-либо руки. Моя свобода стоила мне моей дочки. Моя жена не хотела ребенка, я хотел, и я хотел дочку, которая будет похожа на нее. Я, должно быть, очень ее любил.

Андрея подходит ко мне.

— Привет! — говорит она по-русски. — Извини, я опоздала.  
— Ничего, — говорю я. — Я сам только пришел.

— Мне очень жалко, — говорит она. — Но это, наверное, наш последний урок, так как я улетаю домой в понедельник. Моя мама больна, и я должна быть с ней.

Я веду этот последний урок. Затем пишу ей свой адрес в России и телефоны моих друзей.

— Если я буду там, — говорю я, — то я тебя встречу.

Андрея смущенно сует в кулаке мне деньги за два урока сразу. Она растроена. Мы прощаемся. Она выходит из зала. Я догоняю ее.

— Держи, — говорю я и протягиваю ей пачку листков со своими стихами. — Может быть, когда-нибудь сама сможешь перевести.

Прощай, хорошая немецкая девушка.

Думаю о своей больной маме. Я не могу вот так просто полететь к ней в понедельник — родился не в той стране. Я имею то же количество рук и зубов, что

и вы, я говорю на вашем языке, могу играть на гитаре и скрипке, имею университетское образование, когда-то даже публиковал научные статьи, я прочитал больше книг, чем весь персонал вашего странного хомофиса за последние тридцать лет. Но что-то со мной не так, я, наверное, болен, я нелегал, я, наверное, тайный агент в вашей стране.

Нет, господа, извините, я был нелегалом, когда имел русский паспорт с просченной визой, но теперь я свободен, я выбросил паспорт в море, я не имею бумаг, а значит, я гражданин планеты.

Будь я сейчас в Европе, я бы просто перешел несколько границ и — дома, пью с мамой чай. А с этого острова еще не вымерших фарисеев просто так не уйти. Но меня голыми руками не возьмешь, свободное творчество свободных масс победит косное бюрократическое мышление буржуазии. У меня есть мой плот, мой ковчег свободы, и пошли они все к чертам.

Моя территория — это море — свободная стихия — нейтральная зона. Двадцать пять миль от берега и миллионы квадратных миль, принадлежащих никому, то есть нам всем, где никому не придет в голову спросить у меня паспорт и визу.

Я получил письмо от жены. От бывшей жены — не звучит, мы развелись, но у меня нет жены нынешней, в конце концов она мать моего ребенка.

Здравствуй.

Поздравляю тебя с днем рождения. И вот, дарю еще парочку фотографий. Я так и не поняла, получил ли ты письмо предыдущее. А здесь Алене год и месяц. С тех пор она очень сильно изменилась. Волосы выросли настолько, что ее пришлось подстричь, и наконец появилась нижняя губка, которую она постоянно закусывает. В общем она прелестна. Она потрясающе улыбается и еще более — смеется. Это такой маленький колокольчик, а глаза сияют, как звездочки. Материнство — это страх, постоянный страх и изматывающий. Кто-то мне сказал это, и это истинная правда. Я уже успела почувствовать его на собственной шкуре, и, однако, это только начало.

Знаешь, ты иногда мне счишься. На меня очень сильное впечатление произвели твои слова. Я сказала тебе, что ты со мной неоткровенен. А ты ответил: «А кто откровенен?!» Боже мой, а я думала... До меня тогда наконец дошло, до какой степени мы уже разошлись. И даже стало несколько яснее, почему так все получилось. Ты, оказывается, считаешь, что это в порядке вещей. Ну вот, из-за этого, наверное, в снах всегда один и тот же сюжет: я пытаюсь зачем-то поговорить с тобой, но это невозможно. Невозможно ни докричаться, ни дослушаться. Ты либо молчишь, либо как-то нехорошо усмехаешься, либо вдруг начинаешь убегать, иногда с какой-нибудь девушкой. Забавно, правда? Сколько времени прошло, а в голове где-то все еще вертится. Писать смешно, а на самом деле впечатление остается тяжелое. Тяжелые сны. Ну, ничего. Я уверена, ты не будешь обижаться на меня за эту страничку. В конце концов, мы ведь свои люди.

Спасибо тебе за новогодние деньги. Если ты не ответишь мне, я, наверное, писать тебе больше не буду. Непонятно, насколько тебе это нужно. Вполне возможно, что тебе напоминание обо мне тягостно. Это часто так бывает. Все пройдет. Лишь бы у Аленки все обошлось. Помолись за нее, если ты можешь это. Кто знает, может, она лучшее из того, к кому (и к кому) ты имел отношение.

Больше нет желания писать ни о чем. Я поздравляю тебя и желаю везения. Думаю, все у тебя будет хорошо.

Целую.

Нет, я не сволочь. Я в самом деле любил ее. Я никогда не изменял ей. Может быть, только в мыслях. Я любил ее. И она первая ушла от меня. Это была ее инициатива, и я пытался убедить ее остаться, но я не мог применить насилие к ней, я не мог ее запереть, я даже не мог кричать на нее, я все время жалел ее, я думал, что если она встретила другого человека и полюбила его, то значит, она уже не

любит меня, и я должен отойти в сторону, уехать, убежать, что я не должен усложнять им жизнь, что я не должен заставлять ее еще больше страдать, ведь она мать. Я думал, что я как мужчина, как интеллигентный человек смогу вытерпеть, смогу пережить, смогу все взять на себя, оставив их в покое.

Да, я молчал, и, может быть, я усмехался, но это только чтобы не закричать от боли.

Но почему я все продолжаю бежать?

По дороге домой я встречаю Стюарта. Мы идем пить пиво в «Бёрдз». Я рассказываю ему, что моя последняя студентка уезжает домой.

— Не беда, — говорит Стюарт. — Я знаю владельца «Виктория-кафе», я поговорю с ним, и, наверное, он возьмет тебя без документов мыть посуду или готовить борщи и пельмени.

«Зачем?» — думаю я. «Зачем?» — это не вопрос, это отрицание. Я не вижу смысла более здесь оставаться, не будет же владелец «Виктория-кафе» читать на русском мои анекдоты. Время возвращаться домой. Домой, к немытой посуде, к яйцам вкрутую, к коммунальному мордобою, к завешенным гирляндами полиэтиленовыми пакетами коммунальным кухням, к бессмертным, ненавидящим своих соотечественников бюрократам, к этим родным подлецам, к умершим от пьянства поэтам. Мой плот готов, ветер надувает паруса, труба зовет. Миллионы лет назад мы все вышли из воды, в воду мы и уйдем. Аминь!

Стюарт рассказывает о проблемах со своей девушкой. Она живет с другим мужчиной, который старше ее и с которым она не имеет полного взаимопонимания, их связь давно исчерпала себя. Девушка чувствует, что Стюарт — этот как раз тот человек, который ей нужен, у нее со Стюартом истинное чувство, они знакомы всего несколько месяцев, но прекрасно понимают друг друга. Однако девушка никак не может решиться уйти от этого человека к Стюарту.

— Я вырос в католической семье, — говорит Стюарт. — А секс для католиков всегда нес запретную интонацию, являлся чем-то вроде смертельного греха. Секс был возможен только в целях продления рода. Секс не должен был приносить радости.

— Ну, ты несколько преувеличиваешь, — говорю я, открывая очередную бутылку «PILSENER». — А как же «Песнь песней»?

— «Песнь песней» — это старая иудейская культура, — упорствует Стюарт. — А у нас, католиков, стремление к сексу является стремлением к смерти. И поэтому стремление к смерти также несет сексуальный смысл. Когда я стою на краю пропасти, я хочу в нее прыгнуть, и я ощущаю возбуждение, граничащее с оргазмом.

— Стюарт, ты просто сексуальный маньяк.

— Нет, — говорит Стюарт. — А взять, к примеру, боязнь СПИДа. Каждый раз, когда я имею случайную связь, я чувствую, как близко я подхожу к барьера. Но я все время использую презервативы, я все время ношу их с собой. У тебя есть дети?

— Дочка, — отвечаю я и достаю фотографию жены с дочкой на коленях.

Обе очень серьезные, смотрят прямо в объектив, они похожи друг на друга, Аленка закусила нижнюю губку.

— Она очень красивая, — говорит Стюарт то ли о дочке, то ли о жене, но скорее всего о жене.

— Да, — подтверждаю я. — Очень красивая.

— А кто сейчас смотрит за твоей дочкой?

— Моя жена второй раз вышла замуж.

— А, — говорит Стюарт, отхлебывая большой глоток пива.

— Стюарт, ты веришь в Бога? — задаю я Стюарtru основной вопрос русской литературы.

— Ну, это зависит от того, что называть Богом. Мне, к примеру, наиболее близко гегелиансское определение Бога, — несет галиматию Стюарт.

Из бара мы идем в винный магазин на Маркет-стрит. Я покупаю на все деньги водки. Большие, красивые бутылки «Столичной», — я свободен, но я патриот — патриот воспетого русской литературой напитка.

Мы спускаемся на берег. Я слоняюсь палец, поднимаю над головой. Ветер дует от берега, а значит, в сторону дома, к Санкт-Петербургу, к России — моей большой рассорившейся семье.

Стюарт помогает выволочь корабль из кустов на берег. Он впечатлен.

Все-таки не зря я работал так долго — плот выглядит и в самом деле великолепно, настояще произведение современного буржуазного искусства. Огромная мусорная куча, состоящая из канистр всех цветов радуги, с гордо играющим на ветру мешком-парусом. В конструкции паруса я также применил оригинальный дизайн, не зря я имею высшее техническое образование. Более того, при строительстве я не использовал ни одной металлической детали, так что радары меня точно не засекут.

— Возьми меня с собой, — говорит Стюарт.

— Нет, — твердо говорю я ему. — Ты пьян, а море любит трезвые головы. Кроме того, ты провалил экзамен на основной вопрос русской литературы.

Мы строго, по-мужски обнимаемся. Стюарт пытается поцеловать меня по-русски.

— Не надо, — говорю я. — Пусть наше прощание будет суровым. И передай привет Рону с Флорой, я так и не успел поблагодарить их за все.

Я достаю из мешка и протягиваю Стюарту одну из бутылок с водкой:

— Вот, выпейте за тех, кто в море.

Стюарт тоже хочет подарить мне что-нибудь. Он неуклюже роется в своих огромных карманах, но, кроме мелочи и мятых упаковок с презервативами, ничего не находит. Он протягивает мне одну из них.

— Спасибо, — говорю я. — Оставь, тебе нужнее.

Мы сталкиваем мой ковчег в море, и я запрыгиваю на него. Прощайте, мои дорогие. Не поминайте лихом. Да благословит вас Господь! Отчаливаем!

Поначалу волна пытается прибить плот к берегу, но затем ветер берет свое, и берег начинает удаляться, а вместе с ним и плачущий пьяный Стюарт.

Не плачь, Стюарт, прорвемся, из всех ситуаций есть хотя бы один выход. Камю нам поможет, нет, не камень, а философ. И оторви бумажку от пальто. Бумажка, говорю, прилипла к пальто. Не слышит. Или это пластырь? Шумно у меня здесь — канистры друг о друга стучат. Ничего, в следующей жизни встретимся, я тебя по этой бумажке узнаю.

Скоро Стюарт исчезает из вида, только шпили соборов слегка маячат на горизонте.

В этом городе можно было бы жить, спокойно жить в четырехсотлетнем уютном доме, с семьей. Топить углем камин, играть в кегли с дочкой на ковре в светлой гостиной, иногда пить вечером пиво с друзьями, по выходным ходить на маленькой лодочке в море, выбрасывая за борт пустые пластиковые канистры из под апельсинового сока. Можно было бы все изменить, начать все сначала, снова любить друг друга, снова писать стихи, заниматься любовью в просторной ванне или на коврике перед ней.

Открытое море. Запах пропал. Канистры стучат друг о друга.

Я абсолютно свободен, привет тебе, свободная стихия! Привет тебе, бутылка «Столичной»! В твоих ста лицах найду ли я свой? Из-за острова на стражень, на простор морской волны выплывают расписные целлулоидные...

Страх смерти? Если Бог есть, то он либо спасет, либо возьмет к себе, и то и другое — спасение. А если нет Бога, если нет ирреальности? То и реальности нет, ибо если нет плюса, то и минуса нет. Тогда все абсурдно, и мистер Пилат был прав в своем отрицании истины: «Что есть истина?», «Что есть жизнь?», «Что есть смерть?». Нет ничего, только слова, только рифма, постоянное повторение, все понятия — вымысел, литература. Смерть, свобода — это только слова. Но в любом случае — есть Бог или Бога нет — не имеет значения где я, в своей петербургской каморке или здесь, между водой и небом. В любом случае я свободен.

Когда светит солнце, страх смерти уходит. Может быть, в этом и есть влияние солнца на бытие нашей планеты?

Но готов ли ты встретить ночь? Увидеть себя под ее бесконечным крылом? Ночью, когда нельзя различить то, что рядом, но можно увидеть звезды, те, что давно погасли, удаленные на миллионы километров и лет.

Готов ли ты предстать в одиночестве перед пространством, осознать себя ничтожной частицей?

Если кто-то сейчас с расстояния тридцати световых лет наблюдает в телескоп нашу планету, он может застать момент моего рождения, и я буду жить для него еще тридцать лет. Значит, что бы здесь ни случилось со мной, я все еще жив для кого-то, я все еще буду жить.

Хорошо, что можно, положив слова в стройный ряд, доказать себе все, что угодно. Если я доказал себе отсутствие своей смерти, значит ее в самом деле нет. А если бы не было слов? Тогда бы и не было слова «смерть».

Если они все еще получают мои письма, даже пусть с того света, это значит, что я все еще жив.

Если она в своих снах все еще видит меня, даже молчащего, даже нехорошо усмехающегося, это значит, что я все еще жив.

Страшно, но если пить больше, то даже при свете звезд становится веселей.

Главное — не замерзнуть слишком быстро.

Страх поднимается из груди, а ты его по башке еще одним глотком и устрицей закуси. Ух! Хорошо пошло! Какой у тебя винегрет в голове. Да, сейчас бы винегрета к водочке.

В любом случае плот будет выброшен на берег, ведь он пластиковый, и море не сможет его потопить, море будет пытаться истогнуть его из себя. Невозможно трансплантировать пластик в воду. Я должен только привязать себя к своим канистрам покрепче, быть с ними единым целым, притвориться, что я тоже пластиковая канистра, тогда, рано или поздно, я все равно окажусь на берегу.

Боже, дай мне еще раз перед смертью поцеловать ее сосок.

Немного мутит, то ли от качки, то ли от водки. Я наклоняюсь за борт. Из воды на меня смотрит рыба, рыба — мое отражение.

— А, рыба, — говорю я. — Хочешь водки?

И я лью рыбе водки.

— Ты слабак, — говорит мне рыба. — От тебя ушла жена, на тебя пару раз наорали в официальных учреждениях твоей страной страны, и ты сбежал аж в Британию, а теперь вообще грех на душу берешь.

— Что ты понимаешь в жизни, глупая рыба? — спрашиваю я дрожащим от негодования голосом. — Ты, рыба, должно быть, ни Шопенгауэра, ни Ницше не читала. Ты глупая рыба. Ты просто символ глупости с картины Босха. Я не слабак. Я абсолютно свободен. Я даже свободнее, чем ты. Я теперь ни от кого не завису. Я могу плыть в Азию, а захочу — поплыть в Америку. Шлегеля читать тебе надо, а потом поговорим! А кроме того, если будешь называть мою страну страной, я тебя съем, как закуску.

— Какого Шлегеля, — спрашивает рыба, — старшего или младшего?

Я теряюсь, здесь рыба меня поймала, я не помню какого.

— И вовсе я не символ глупости, — продолжает рыба. — Напротив, я символ мудрости, я символ христианства, и вот еще, если ты помнишь, Золотая рыбка, к примеру.

— Какая же ты золотая? — пытаюсь смеяться я. — Ты зеленая от холода.

— Это не от холода, — говорит рыба. — Это фотосинтез во мне идет.

— Какой еще фотосинтез?! Ты же не травинка, ты рыба!

— Все мы в этой жизни травинки, — говорит рыба.

— Рыба, — говорю я, — хочешь, расскажу анекдот, по слухам принадлежащий Пушкину?

— Давай, — говорит рыба.

— Как-то Серен Кьеркегор прочитал роман своего внука племянника Жана-Поля Сартра «Тошнота» после этого пищеварение Кьеркегора настолько

нарушилось, что его стало тошнить при виде любой пищи. Он не мог видеть даже свою любимую спаржу под майонезом, и посему вскоре скончался от голода.

Рыба не смеется.

— Не смешно? Так раньше, — поясняю я, — во времена Пушкина, анекдоты и не были смешными, это сейчас анекдоты смешные, а тогда не были.

— Не мог Пушкин знать о Сартре, — говорит рыба.

— Да, — соглашаюсь я. — Значит, я и в самом деле что-то напутал.

— Конечно, напутал, — говорит рыба. — Ты ведь помнишь, как сразу после свадьбы она сказала тебе, что чувствует, что браки и в самом деле свершаются на небесах?

— Все пройдет, — говорю я с надеждой.

— Nevermore! — каркает рыба.

Меня рвет прямо на рыбу.

Рыба улетает.

Какая же все-таки гадость эта водка, как люди только умудряются ее пить?

Чертов холод. Эта чертова волна накрыла меня целиком, я до нитки промок. Главное, сигареты промокли. О чем ты думал, просто положив сигареты в карман? Что это еще в кармане? А! Религиозная брошюра! «Библиотечка путешественника»!

Если вы не успели спасти свою душу к приходу Господа нашего — ваша душа будет безнадежно пропавшей! После того как все христиане исчезнут, человек греха — Антихрист, взойдет. И в конечном итоге вы будете брошены в озеро огня, нести наказание за грехи свои день и ночь, и во веки веков (Откровение 20:15).

Озеро огня, но ничего не сказано про море холода, значит, это еще не ад. Может быть, это чистилище?

Надо больше пить, тогда огонь начнет подниматься откуда-то снизу. Слава Богу, водки еще много.

Хорошо, что ветер раздувает парус, куда-то все-таки плывем, непонятно, правда, куда — звезд сквозь облака не видать.

Светает. Что это там в тумане? Берег? Мой Бог!

Земля! Земля! Свистать всех наверх!

Я почти у цели. Да, да, я уже вижу первые высотные дома гавани Васильевского острова. А вон там сверкает сквозь туман, в первых утренних лучах золотой купол Исаакиевского собора, рядом возвышается новый небоскреб фирмы «SONY» и гигантская реклама «PEPSY-COLA», в небе плавают дирижабли с пестрыми надписями: «SASSOON SHAMPOO & CONDITIONER IN ONE — WASH & GO», «ROLLS-ROYCE» и «ROCK-N-ROLL FOREVER». Да, давно я не был в родимой сторонушке.

Неужели, пока я спал, дамбу проехали?

Эй, там, на баке, пошевеливайся! Расправить шпангоуты! Поднять брамселя! Распрячь концы!

О, мой волшебный город! Знакомый до слез. Окно в Азию. Где, может быть, родились вы, или гуляли...

А вон там, на пристани меня ждет моя мама. Она выглядит уставшей и слегка постаревшей, но она улыбается. Она пришла меня встретить, несмотря на свой застарелый артрит. Я кричу ей: «Мама! Мама!» Она поворачивается и зовет отца. И отец подходит к ней вместе с моей женой, и он держит на руках мою капельку-дочку Аленочку, и они улыбаются мне, и они что-то кричат, и они машут руками.

Хорошо, что вы все помирились, пока меня не было с вами.

Солнце встает.

Боже мой, как холодно.